

М и х а и л К н и ж н и к

С Т И Х И С И С Т О Р И Я М И

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ. «БРОКГАУЗ, РАСКРЫТЫЙ НА «ЛОЖЬ»»

Он стекал,
 огибая
 меня,
 Под уклон,
 а Подол,
 до реки,
 И с ухваткой завзятых менял
 Предлагал угадать кулаки.
 Впрочем, я здесь и так узнавал
 Фундуклеевской пышный фасад
 Наши окна, что смотрят на Вал,
 Вздох балкона, подъезда портал...
 Я здесь жил. Лет сто двадцать назад.
 Или меньше. Ну, может быть, — сто,
 Девяносто, а словно вчера
 Ты взлетала, я крикнул: «Постой!»
 Мы летали всю ночь, до утра.
 Дождь, как этот, начался к утру,
 Только нас не касалась дрожь дня,
 Мы Подолом
 спускались
 к Днепру,
 Повторяя
 дорогу
 дождя.
 Был Брокгауз, раскрытый на «Ложь»,
 Век мигнет быстрее, чем день.
 Так и вышло — вот Киев, вот дождь
 И на склонах дичает сирень.

1989

Это был мой первый приезд в Киев. Апрель был на исходе, сирень кипела и выкипала, шли дожди. Из Запорожья прилетел мой друг Юрий Григорьевич Липиченко, чтобы щедро поделиться со мной Городом, как назван он в самом киевском романе, всеми исчезающими Воздвиженками и «господскими» Липками. Да так поделился, что я ощутил Киев своим, словно жил в нем прежде. Стихотворение следовало по всем статьям посвятить Юрию Григорьевичу, но присутствующая романтическая нота подразумевала адресатом женщину.

Никакой женщины в тот приезд не было, на удивление вокруг были только мужчины, может быть, поэтому в тексте возникла женщина. А вот словарь Брокгауза и Ефрона тогда присутствовал полный и на диво сохранный.

Складываться стихотворение начало в Киеве, а закончилось через несколько недель, в Ташкенте. В пределах досягаемости ужу не было Брокгауза-Ефрона, чтобы проверить наличие там статьи «Ложь». Да, честно сказать, не очень-то и хотелось.

Много позже мне рассказали, что статья такая есть и не только есть, но и знаменита.

В философских кругах, если позволено будет такое выражение, стало притчей во языцех: это был последний раз, когда на русском языке рассматривалась ложь как философская категория. С тех пор на долгие десятилетия энциклопедии и словари, и знаменитый «Краткий философский словарь», выдержавший несколько изданий и украшенный усатой физиономией главного философа всех времен, обходили ложь десятой дорогой.

«Ложь — в отличие от заблуждения и ошибки — обозначает сознательное, а потому нравственно предосудительное противоречие истине...» — пишет автор статьи, Вл. Соловьев на 911 странице 34 (17-А) тома.

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ. «СЛУЧАЙНЫЙ ПРОХОЖИЙ»

«Сережа!

Сережа!

Сергей Александрович!

Юра!...»

Морозом по коже,
под пальцами — клавиатурой
бежала, крича,
от Арбата,
от стеба,
от арта,
в родное вчера
из чужого холодного завтра.
Так кличут: «Врача!»,
Хотя уже все опоздали.
Бежала, крича.
На Арбате «Самару» лабали.
И случайный прохожий
Навсегда уносил в переулок
«Сережа!»
Сережа!
Сергей Александрович!
Юра!..»
Махнула рукой
И спокойно к подъезду вернулась.
«А, кто он такой...»
Напоследок она обернулась.

1988

1.

Осенью 1988-го я проездом оказался в Москве, и туда повидаться приехал с Украины мой друг. В те годы мы ощущали Москву своей столицей. И пользовались любым поводом побывать там. С годами и ощущение прошло, и стремление исчезло.

Шляться по ласковому бабьему лету было куда как хорошо. Косые солнечные лучи, отрефлектированные осенней листвой, не раз заставляли вспомнить Сергея Соловьева, с фирменным желтым свечением его кино.

Поэтому, когда, догуляв до Спасопесковского сквера, увидели, что там идут съемки, то пошутили: это наверно Соловьев, кто же еще. И не особенно удивились, когда и вправду увидели Соловьева.

Описывать место действия я не стану, кто захочет его представить, может посмотреть «Черную розу — эмблему печали, алую розу — эмблему любви». Там хорошо видна крыша одноэтажного дома в переулке Воеводина, которую перебежала, вылезая из окна соседнего дома, Друбич в вуали, колготках и адмиральском мундире, чтобы подниматься по пожарной лестнице глухой московской торцовой стены, украшенной неоновой рекламой аэрофлота. И резиденция американского посла, знаменитый Спасо-Хауз, тут же, по правую руку, отделенная пяточком маленькой площади.

Мы, как заправские зеваки, глазели на суету съемочной площадки. Огромный ясень, росший во дворе и возвышавшийся над крышей, со двора поливали из брандспойтов. К стене жался мальчик, укрываясь от воды. Соловьев, с короткой сигарой в коротких пальцах, невозмутимо взирал на происходящее, выкрикивая поочередно две фразы. Сначала:

— Пропитывайте листву!

Потом:

— Согрейте Мишу!

И так — много раз. Из подъезда вынесли треногу, штатив камеры и стали устанавливать, замеряя высоту и тщательно выверяя уровень. Когда установка была завершена, все винты прикручены, Соловьев сделал полшага в ее направлении, не глядя, водрузил на треногу локоть руки с сигарой и продолжил:

— Пропитывайте листву! Согрейте Мишу!

Возле деловито крутились разные люди. Илья Иванов, бритоголовый, с длинной кадыкастой шеей, игравший дядю Коку, все пел песню «Ах, город Самара, тринадцатый год». Нужно сказать, что песня та была мне знакома, но сейчас все гуглы отказывают в ее поиске.

Многочисленные помощники уже рассказали нам и сюжет фильма, и многие детали съемок, и про музыку Гребенщикова. Вдруг от американской резиденции отделился человек и пошел в нашем направлении. Шел он медленно и тщательно, как идут парламентарии в фильмах про войну, только белого лоскута в руках ему не доставало. Поддержав ритуал, навстречу ему заковылял Соловьев, прекратив пропитывать листву. Они сошлись как раз на середине маленькой площади. Склонив головы друг к другу, пошептались и так же медленно и значительно вернулись в свои станы.

— Они просят сделать перерыв, — сказал Соловьев. — У них там будет играть Кливлендский квартет. Б...ь.

Был объявлен перерыв. Соловьев вместе со слезшим с крана оператором зашагали в сторону Арбата.

И тут из подъезда выбежала прекрасная Друбич и бросилась им вослед. Она звала:

— Сережа! Сережа! Сергей Александрович!

Соловьев уже ушел далеко и не слышал, увлеченный беседой, тогда она в смятении решила позвать его спутника, и крикнула:

— Юра!

Но никто не обернулся. Она пробежала еще немного, потом махнула рукой и разочарованно вернулась восвояси.

Мы переглянулись. Все вокруг были заняты собой. Никто кроме нас не видел этого абсолютно законченного, лаконичного и многозначительного спектакля в исполнении замечательной актрисы и очень красивой женщины. Только перед нами были раскинуты сейчас все эти шелка — надежда, смятение, разочарование.

Мы зашагали прочь.

Когда часа через два, ноги сами принесли нас снова в Спасо-Сковский, в густеющих сумерках снимался известный всем подъем по пожарной лестнице в колготках и адмиральском мундире. Это было забавно и интересно, но с великолепием виденного нами пробега сравнить было нельзя.

Посвятить текст Татьяне Друбич я не решился. Мы не знакомы, и мне показалось, что я не в праве обременять ее своими посвящениями.

2.

Клавиатура в ту пору однозначно подразумевала музыкальный инструмент.

Сегодня почти так же однозначно — не подразумевает.

ИСТРИЯ ТРЕТЬЯ. «НАВСЕГДА ТЕПЕРЬ УЖЕ МОИ»

*Я теперь хозяин, посмотри,
в доме, что на Курской, 23.*

*Этот август понаделал дел,
несказанно я разбогател.
Навсегда теперь уже мои
те, под Севском горькие бои,
И мои теперь уж до конца
все медали моего отца,
и осколок, мной теперь хранимый,
в 43-м не убившей мины,
и коробка писанных мне писем,
навсегда от них теперь зависим,
вновь читаю, пристальной, детальней...*

Что с отцовской делать готовальней?

К отъезду из Ташкента у меня накопился толстый конверт отказов из разных журналов, которые печатать моих стихов не хотели. То есть изредка все же соглашались, но чаще — не хотели. О чем и сообщали на листочках, увенчанных вожделенным, как теперь это называют, лого. Вот таких красивых листочков и набралась у меня увесистая пачка. Уезжая, конверт тот я выбросил. Сегодня не помню ни названий печатных изданий, ни аргументов их отказов. Хотя нет, один все же помню.

Молодая тогда поэтесса, моя ровесница, имя которой мне уже было знакомо. А это значит, что она публиковалась и выделялась чем-то. Так вот, она в качестве внештатного литконсультанта мне и написала:

«На каком основании лирический герой присваивает себе боевые награды другого человека, пусть даже и родственника?»

Черт, написала бы как все «не подходит», и я бы сегодня не вспомнил. Но она была поэтесса, она была своя, цеховая, и должна была понимать, и не должна была писать этого.

Прошло много лет. Я мало пишу стихов, и много — прозу. Меня печатают, но не всегда. Отказы тоже случаются. Правда, теперь они меня огорчают гораздо меньше. Но и публикации радуют совсем не так, как прежде.

У той поэтессы судьба литературная сложилась не очень успешно, времена-то были к поэзии не благосклонные, и жизнь — не очень складно, насколько мне известно.

В фейсбуке у меня с ней 36 общих френдов.

ИСТОРИЯ ЧЕТВЕРТАЯ. «РАЗДЕЛЯЯ СВЕТ И ТЕНЬ»

Е. Скляревскому

*Ты плел арыки и каналы,
И, разделяя свет и тень,
По берегам сажал чинары,
Менял рубашки каждый день.*

*Неужто в книгах не дознался?
Неужто дураки — друзья?
Неужто сам не догадался?
Пустыню напоить нельзя.*

*Верблюжью увидав колючку
На клумбе, в сквере, Боже мой,
Ты плачешь стыдно и горюче,
Ты, старьей, глупый и больной.*

1993

1.

Десять лет — между окончанием института и моим отъездом из Ташкента — мы с ним проработали бок о бок. А до этого еще шесть лет были однокурсниками. То есть 16 лет виделись почти ежедневно. Мы не были друзьями, но у нас была общая жизнь, мы собирали один и тот же хлопок, одни и те же замдеканы и завотделами нас гнобили. Наедине я его называл институтским прозвищем — Худик, на людях — по имени-отчеству. За эти годы в жизни каждого из нас происходили разные события, радостные и горестные. Я видел его и в свадебном, шитом золотом чапане, и — в простом, бекасамовом, в котором стоят на поминках.

По нему я складывал представление о среднем узбекском своем ровеснике, о его стремлениях, вкусах, пристрастиях. Потому, что друг мой, Шукуруч, источником такой информации быть не мог: слишком ярок, талантлив и остроумен. От Худика я услышал фразу:

— Женился, золотые зубы поставил, на категорию сдал. Можно передохнуть.

Много о чем мы переговорили за эти годы, многое обсудили. Поэтому, когда Худик увидел у меня на столе листок, отпечатанный на машинке, остановился, прочитал и спросил:

— Это как-то связано с открытием памятника Амиру Тимуру на Сквере?

2.

Написав стишок, я понял, что его нужно посвятить кому-нибудь из старших друзей, тех на чью зрелость пришелся разлом времен, не оставляя много шансов перескочить на другую льдину. Но посвящать такие тексты следует только с согласия. Там еще последние строки — аллюзия самойловского «горла в ангине». Можно нещучно обидеть.

Мой учитель хирургический, профессор Альберт Ервандович Аталиев, блестящий, атакующий, не раз как бы в шутку говорил, мол, посвятил бы ты мне стихотворение. Он выслушал и сказал:

— Не надо.

Тогда я спросил Файнберга, поэта. Тогда еще не народного поэта Узбекистана. Он быстро и резко ответил:

— Киплингу посвяти.

Прошло без малого двадцать лет, и посвящение согласился принять Женя Скляревский, создатель сайта «Письма о Ташкенте». Он тратит огромные усилия, чтобы соединить несоединимое, свести воедино две льдины, все дальше отплывающие друг от друга.

